

**Выступление перед творческими работниками
Томска (ноябрь 1982 года)**

В 45-ом году я женился, совершил такой поступок, который Богом предопределён. Было мне двадцать лет, жене — двадцать лет. В 45-ом году после госпиталя я женился, жена оказалась с Урала, ехать мне в Сибирь в общем-то некуда было, это сейчас вы — хотя бы часть из вас — рады меня видеть. По моему, в 45-м году никто бы не обрадовался и никто бы не заметил, что я приехал, поэтому поехали на родину жены, и я 24 года прожил на Урале. Из них 19 — самые молодые годы, самые трудные — были прожиты в городе Чусовом на Урале, городишке маленьком, дымном, рабочем, тёмном. Там родились дети и выросли, там остались молодые годы, и там я переживал всё, что наш дорогой генералиссимус и наши дорогие маршалы предоставили нам: возможность после войны или погибнуть или выжить. Мы с женой выжили. Многие погибли в этой страшной борьбе с нуждой, выброшенные, по существу, на помойку, забытые всеми. Через 20 лет о нас вспомнили, что есть инвалиды, те, кто воевал. И дали нам медали в честь 20-летия и разрешили написать в сборниках о том, что мы были.

Там с женой мы похоронили первого ребёнка, потому что его кормить нечем было. Там прожили мы и на улице, и в голоде, и в холоде, но выстояли. Жена у меня тоже пишущий человек, очень хороший человек, жизнестойкий, из рабочей семьи. Их было в семье 9

человек, отец был сцепщик вагонов. В общем, крепкая оказалась кость, и мы всё-таки эту дорогую действительность как-то переломили.

18 лет в Чусовом, и после окончания Высших литературных курсов несколько лет в Перми, и 11 лет в Вологде я прожил и наконец понял, что любить родину, любить несколько болезненно, притчева-то, как я люблю, издалека хорошо, а ближе ещё лучше, и на старости лет нужно быть дома, доживать свои дни дома. И, может быть, меня в этом убедила истовая какая-то любовь и привязанность к семье вологжан-литераторов. Сама по себе вологодская земля, она хороша на картинках, открытках, в кино. На самом деле это болотистая, ольховая, очень пустынная земля. И тем не менее ребята её так умеют воспевать, что я порой поражался, как из этого, почти убогого, пейзажа высекается такая прекрасная панорама, такое слово, как у Василия Ивановича Белова, Ольги Фокиной, Коли Рубцова, Саши Романова, Вити Каратаева ... И я понял, что всегда завидовал им, когда сидел с ними и меня уже называли вологжанином. Никогда я себя не чувствовал вологжанином, конечно. Принадлежность к своей земле — это ещё, кроме всего прочего, и огромное счастье какое-то.

Ну вот, три года уже как я сибиряк, в родном селе у меня есть изба, в Академгородке есть квартира. Со мной жена. И дети, и внуки, к сожалению, остались в Вологде. Сын у меня работает в реставрационных мастерских древнего искусства. Образовались такие мастерские по реставрации икон и по учёту ценностей, которые находятся у нас в недобитых церквях, недоразорённых. Они совместно, коллективом вскрыли из-под записей такую иконку в полстола. Там какой-то святой изображён, я, как всякий чалдон, очень слабо в этом разбираюсь. Во всяком случае, сейчас составлен паспорт, и эта икона стоит 11 с чем-то миллионов. Поэтому сын и не мог со мной поехать.

А мы с женой в Красноярске, сибиряками стали. У меня ощущение такое, что я никуда и не уезжал, да, может, и сказывается, что я каждое лето, иногда не по разу, а если кто-нибудь помрёт, то и по два раза приезжал в Сибирь, или свадьба какая ... И какой-то отторженности большой я не чувствовал. Потом, я всё время писал про Сибирь. Был такой совершенно чудный человек — мне везло на них — Борис Никандрович Назаровский, он родом омич, потом в силу разных обстоятельств попал в Пермь. Там всю жизнь прожил, был в друзьях с Каменским, Гайдаром, их там целая хартия была, потом стал главным редактором издательства. Я как раз начинал писать, что-то там попытался по молодости лет, — квасной, местный патриотизм же, он паче гордости. Живёшь в Вологде — каждый читатель спрашивает: когда вы будете писать о вологжанах? Живёшь на Урале, вроде уральскую картошку жрёшь, а пишешь про Сибирь — тоже не хорошо. Вот я пытался писать про уральцев, на уральском материале. И Борис Никандрыч мне сказал: “Виктор Петрович, миленький ты мой, не надо, не делай ты этого, не трать своих усилий, не того ты склада человек. У тебя все уральцы, которых ты тут изображаешь, всё равно думают и говорят по-сибирски”. Совет был вовремя сделан, и как-то я, в общем, на этом и остановился. Пусть земля пухом будет этому человеку, благодаря которому я не растратил творческой энергии на пустяки, на потрафление начальству. Они очень любят, чтоб писали про стахановцев. Часто очень путают вообще профессию писателя с журналистикой, вообще часто не разграничивают их.

Таким образом как-то мне удалось, живя на Урале и в Вологде, сохранить приверженность и преданность родной земле. Но как Пуш-

кин говорил, — всё ж к родимому пределу... После “Царь-рыбы” — книги очень для меня чудной и сложной, совершенно для меня неожиданно получившей такой резонанс... Она мне просто надоела, мне хотелось её поскорее издать и избавиться от неё. Книги, как и судьбы человеческие, они тоже каждая по отдельности, ни одна книга так трудно не писалась, как “Царь-рыба”, Конечно, какой-то центральный замысел у меня был. Может быть, та мысль, которая занимает многих и подспудно занимала меня. Двадцатый век — период активной урбанизации, в тридцатые годы наши комсомольцы с факелами бегали, кричали, что сейчас все объединятся, пойдут на фабрики и станут счастливые. И когда мы сбежались в города, почему человечество постигло такое одиночество? Вопрос, по-моему, заставший врасплох человеческое общество, и наше общество, в частности, поскольку мы считали всегда, что мы общество трудовое, прогрессивное. Мы, собственно, ради этого революцию делали, чтобы объединиться в дружный коллектив. И вдруг почувствовалось какое-то разобщение, я бы сказал, даже враждебность. Вопросы сложные, вопросы, которые не могут не задевать думающего человека, и в какой-то мере занимают они меня. Те, — кто трактуют “Царь-рыбу” как экологическое произведение, очень заблуждаются, это поверхностное прочтение книги. Я не стал бы писать о том, как браконьеры бегают за егерями, егеря за браконьерами. Мне хотелось написать книгу и поставить вопрос: почему в этом мире человек так одинок? Кто внимательно читал книгу, поймёт, что вся она пронизана этой мыслью.

Случилось так, что “Царь-рыба” шла в трёх номерах “Нашего современника”. Первый номер прошёл ничего, второй пошёл с зацепками, а я в больнице лежал, началась правка по телефону. Прохождение очень сложное, вымотавшее последние силы и нервы, и когда, наконец, её напечатали, я сказал: “Слава тебе, Господи, я этим делом больше заниматься не буду. Не буду больше писать вообще”. Бывает такое настроение. Но поскольку есть такая совершенно неизлечимая болезнь — графомания, то, конечно, через какое-то время я снова сел за стол и заполнил паузу тем, что написал две пьесы, поучаствовал в съёмках фильмов и как-то восстановился, воспрянул.

Я никогда не веду дневников и записных книжек, делаю лишь наброски, зарисовки, и это где-то там в папках лежит. И постепенно накопилась книга. В 72-м я издавал её в “Советском писателе”, она называлась “Затеси”, и сейчас переиздал её в Красноярске под тем же названием, но тогда затесей было 34, сейчас их 104. Это даёт возможность как-то выговориться, поразмышлять.

Я работаю над новым современным романом, небольшим. И мне потребовалось в прошлом году сходить в вытрезвители, тюрьмы, лагеря. И побывать в так называемом бичёвнике. Наверное, в Томске он есть. Я так понимаю, что в каждом уважающем себя городе такое заведение есть. Это тюрьма для бродяг. Правда, она у нас называется как-то сложно, что-то пересыльный пункт для чего-то... Ну, это у нас умеют. У нас целые отделы сидят и думают над этим. Как замаскировать — не называть пьяницу пьяницей, вора — вором, а как-нибудь пообтекаемей. Тюрьма для бродяг — это при царе называлось. Откровенный у нас был царь, дурак. Там по 18 человек сидит в камере молодых людей. Зрелище невыносимое. Им предлагается всё — завтра выйти, пойти на любое предприятие. Везде в Сибири рабочих рук не хватает. Нет, им не нужно это. А ведь они все в школе учились, состояли в комсомоле, между прочим, читали “Как закалялась сталь” и “Молодую гвардию”. И вот они сидят в этом бичёвнике. Меня пора-

жает, как можно бросить свою жизнь псу под хвост? И в то же время мне начальник экспедиции геологической рассказал потрясающий случай. В Таймырской экспедиции Красноярского края шофёр ехал. Спустило колесо. Обычная история. Он приподнял домкратом машину, сменил колесо, и, когда убирал домкрат, ему придавило руку. Было пятьдесят градусов мороза. У него было сроку 15–20 минут, чтоб не замёрзнуть. Он зубами перегрыз себе руку, перевязал себя и доехал. И когда я смотрел на этих, в бичёвнике, спрашивал их: “Зачем вы здесь? Что вы тут делаете?”, то они сразу претензии, что, мол нас кормят плохо, медицинское обслуживание недостаточное. Все они больные: почки, там, печень ... Все пьют гадость, какую попало. А я никак не мог забыть этого человека, который, чтобы выжить, в течении 15 минут изорвал своё собственное тело, захлёбываясь кровью. И вот эти крайности уже не оставляют меня. Понять полусы в характере человека, постичь его душу ... Я не знаю, насколько мне это удастся, но такая задача сейчас стоит передо мной в этом небольшом романе. Главный герой — милиционер, которому перебили всё ноги и руки на этой службе великой.

И в это же время я работал над другой книгой. У меня был друг Алесандр Николаевич Макаров, большой и серьёзный критик. У меня было 50 его писем. Я жил в Перми, и он очень часто мне писал. Вот так случается у нашего брата-литератора, что полон дом дармоедов, а поговорить не с кем. И вот он вцепился в меня — молодого, жадного до общения парня. Познакомились мы на высших литературных курсах, и он мне писал письма, иногда очень большие, до 20 страниц. И когда я перечитал их, я понял, что эти письма не столько мне, сколько прорастают в нашу современность. И мне показалось интересным, чтоб эти письма знал не только я ...

Меня потрясает благодушие, бестревожность, какая-то способность забываться. Мне кажется, что у нас уже целое поколение, если не два, воспринимают наши рассказы о войне, как какую-то сказку про Иванушку-дурачка. Быть может, мы недостаточно талантливы, быть может, мы недостаточно хорошо об этом пишем, может, есть силы, которые сдерживают нас, чтобы мы не до конца вскрывали весь ужас войны этой. И я вас очень прошу не пропустить: появится в этом году в журнале “Сибирские огни” роман под названием “Джонни получил винтовку” американца Трамбо, переведенный почти на все языки мира. Я рекомендовал его “Сибирским огням”, поскольку нигде нельзя было больше напечатать. Переводил его Шрайбер, тот, который перевел “Трёх товарищей” Ремарка, очень хороший переводчик. Я думаю, что роман натолкнёт нас на то, что мы недостаточно правдивы и искренни в изображении войны. В документальном кино она одна, а когда дело касается бумаги — она другая, немножко комиссарская: грудью девочка комиссара закрывает так красиво ... Мы как-то забываем, что победу мы добыли огромнейшим потоком крови, страшной травмой нашей нации русской. Опустела Россия из-за потерь на войне и опустела из-за того, что мы бездарно воевали. Мы завалили немца бомбами, кровью утопили. И — победили, слава богу. Но не дай бог, чтобы ещё одна такая победа к нам пришла. Тогда нас просто не станет.

Я понимаю, каждому человеку и обществу хочется выглядеть лучше. Но это, на мой взгляд, совершенно не должно касаться писателя. Писатель, если он чувствует себя самостоятельно мыслящим человеком, заблуждается, прав или не прав — это не его дело. Он сам себе судья и господин. Он не может об этом молчать. Он должен го-

ворить с людьми на том языке, на котором способен говорить и высказаться до той правды, на которую он способен. И это я вам, по существу, рассказываю то, над чем сейчас работаю, — своё произведение “Зрячий посох”. Всё это очень сложно, и поэтому на работу ушло четыре года. Книга небольшая, а тем не менее — четыре года. И вообще, скажу вам, с возрастом жить труднее, думать тяжелее, а писать во сто крат труднее. Я завидую нашим советским писателям, которые пишут много, пишут хорошо, часто издаются. Порой меня охватывает желание полегче жить, или, как сказал Вася Белов в “Записках об Италии”, “жить по упрощённой задаче”. Мне кажется, у нашего общества сейчас очень ощутима тенденция жить по заниженной задаче. Я называю это “мелкобуржуазный коммунизм”: двух-трёх комнатная квартира, три замка на ней, палас, несколько хрусталин, дача в пригороде, там опять три-четыре замка, собака, две гряды с клубникой и — пропади всё пропадом! В обществе и вообще у нас в жизни произошла очень сложная деформация, но мы, как всегда, всё, что у нас происходит сложного, признаём задним числом. Будем скрывать до бесконечности, уже нарыв вот-вот прорвёт, всё-таки будем помалкивать, ещё кому-то боязно потерять место из-за этого.

Я как пример вам расскажу такое. Я работал в городской газете “Чусовской рабочий” в 50-х годах. Мы называли её “Очусовелый рабочий”. И мы в 58-м году попытались напечатать статью против алкоголизма. Пили и тогда там много уже, а в горячих цехах пить вообще ужас. Сейчас стали и в горячих пить. При какой-то больнице один врач поставил койки, какие-то уколы ставил, я не знаю, я выпивающий человек, но не пьяница, — не бывал там. Но я увидел, что несколько человек он вылечил. И он первый заявил, что это болезнь, но болезнь излечимая. И вот на эту тему мы нашим родным металлургам решили написать. Что вы думаете, нам это разрешили напечатать? Сразу разделились на два лагеря в горкоме: одни говорят, что надо печатать, другие — вы порочите советский образ жизни; ну, начинается наша демагогия, вы её каждый день слышите. Но у нас настырный был редактор Григорий Иванович Цепенёв, сел в поезд — и в Пермь. И там уж сколько он ходил по обкому, до кого уж добрался, я не знаю, но статья эта была в резолюциях, как веер в китайских значках “Разрешаю — не разрешаю”, наконец кто-то написал “Разрешаю”, подчеркнул красным карандашом, но “Сократить и углы пригладить”. И обязательно это у нас происходит, что до края дойдём, тогда уж — всё. Как штанами зацепишься за гвоздь в заборе, тогда уж загнуть его. Это не может не составлять и степени мучения живущего в этом обществе человека. Мне дорог мой народ, моё отечество. Всё, что у него болит, болит и у меня. Но у меня болит ещё, кроме всего прочего, когда врут. Когда врут бесконечно. Это уже привычный климат лжи. Я думаю, что общество, которое столько пролило крови, столько страдало, оно достойно уважения правдой, оно должно жить ощущением правды, порядочности, честности. Оттого, что мы молчим о преступности, преступников не убывает, оттого, что мы не говорим о пьяницах, пьяниц не меньше, а больше. И вообще, если болезнь замалчивать и не лечить, она приобретает агрессивную, тяжёлую форму. И я рад, что начал писать в период, когда существовала так называемая лакировочная литература. Литература уникальная в своём роде, нигде в мире небывалая и только закономерно рождённая у нас за счёт лжи, обмана. И вот общество всё же смогло преодолеть этот страшный недуг и прежде всего за счёт творческих потенциальных сил в своём народе. И я дожил до такого

счастья, когда литература возвысилась до правды, и рассказал народу эту правду, и от этого не пострадал никто; по-моему, просто стали себя чувствовать лучше, и какие-то изменения произошли не без влияния этой литературы, так называемой деревенской прозы. Правда, я бывал в Кремле у одного дяди, он говорит: я вот так разом прочёл, так, братцы, это сложная литература. Мы говорим: а у нас и жизнь сложная. И хотелось бы и дальше работать и дожить свой век на каком-то самоуважении и как-то вместе с вами поразмышлять о том, что происходит у нас. Эта настоящая литература подвигла наше общество к самоанализу, к попытке самоусовершенствования осознать себя, понять, что мы есть в этом мире. Даже уже и партийные и советские работники подвигать себя стали к правде. И я всё-таки верю в то, что мы доживём до такого времени, когда сможем откровенно смотреть друг другу в глаза. Если только это будет утеряно, общество наше переродится, оно имеет к этому тенденцию. Оно станет совершенно мне непонятным. Во всяком случае, не тем, за которое я воевал. Общество, в котором за горсть ягод бывший проректор института может перебить хребет четырёхлетнему ребёнку, меня совершенно не устраивает. Не за то, как говорится, боролись.

Всё-таки я верю в потенциальные возможности народа и думаю, что эти недуги окажутся преходящими. В общем-то, мы побеждали и не такое. Эти крайности — они преодолимы. Только каждый из нас должен взять на себя груз ответственности.

Много людей на встречах спрашивают у меня: как дальше жить? Чем жить? И я думаю: почему именно у меня? Может быть, потому, что я — сам того не ведая — дотронулся до каких-то болевых точек жизни. Только дотронулся, конечно.